



Глубинный смысл суфизма состоит в смирении перед Божьей волей (по-персидски таслим). Об этом знает каждый посвященный, но странствие по суфийскому Пути - дело сердца, а не ума. И у меня ушло десять лет, прежде чем я начал понимать сердцем истинную природу таслима.

- Ну что, ты хотел бы поехать со мной?

Услышав голос Учителя, я вскочил с одеяла, расстеленного на полу, и попытался привести себя в порядок. Солнце только начало вставать. Вот уже в течение трех месяцев я жил в Тегеранской ханаче, спал на холодном каменном полу, покрытым

персидскими коврами, сотканными пятьсот лет назад; я жил "на чемоданах", окруженный стенами, которые были забиты до потолка книгами по суфизму. (Комната, где я находился, служила одновременно и хранилищем для книг, издаваемых суфийским орденом, и местом собраний суфиев, где они пили чай, медитировали и беседовали. Возможность уединиться появлялась у меня редко.)

За все те три месяца, что я провел в Тегеране, я выходил из ханаки всего несколько раз, обычно чтобы помыться в общественных банях. Все дни напролет я проводил сидя на полу и читая суфийскую поэзию; я редактировал переводы книг Учителя, разговаривал с суфиями, приехавшими в ханаку, пил чай, ел домашнюю персидскую еду и медитировал. Иногда по ночам, когда я не мог уснуть, я выходил наружу, на бетонную дорожку, окаймлявшую три удлиненных облицованных голубой плиткой водоема, пышно обсаженные изысканными цветами и зеленью. Внешний мир для меня практически не существовал.

И хотя, конечно, горячей воды не было, а холодную надо было приносить снаружи, и туалет состоял из двух глубоких дырок в земле под цементным навесом, к чему трудно было привыкнуть, но жизнь, в общем-то, была легкой. Я не должен был отсиживать с девяти до пяти на какой-нибудь скучной работе, готовить или убирать, у меня не было необходимости иметь дело со всем тем, что называют каждодневной борьбой за существование. Но самое замечательное - Учитель был все время здесь.

Ранним вечером после поливки сада мы выносили наружу огромную деревянную кушетку; на нее садился Учитель и принимал самых разных посетителей, которые приходили посоветоваться, попросить об услуге или просто поговорить. Днем Учитель находился в комнате, в которой жил я; здесь он занимался делами ханаки или же работал над книгой, написанию которой уделял много времени.

Всякий раз, когда возникала возможность, я пытался вовлечь Учителя в разговор о суфизме. Иногда он шел на это, иногда - нет.

Помню, как однажды я спросил у него на своем ломаном персидском языке, был ли Байазид хэйли бозорьг ("очень большой") суфий. Он ответил: "Величие в суфизме заключается в том, чтобы быть не большим, а ничтожным. Байазид был очень близок к нулю". В другой раз я спросил его о разнице между фана, "растворением "я" в Боге", и бака, "пребыванием в Боге". Он ответил: "Это можно сравнить с каплей и Океаном."

Когда капля касается Океана, этот момент и есть фана. После этого капля становится Океаном, это - бака. Капли нет - фана; Океан - бака".

- Значит, фана всегда должна вести к бака? - спросил я.

- Нет, - сказал он, доставая коробок спичек. - Фана и есть бака.

Он показал на одну сторону коробка и сказал: "Фана". Затем он перевернул коробок и с улыбкой указал на другую сторону: "Бака". Я сидел некоторое время, пытаюсь понять его ответ, а он вернулся к своим бумагам. Минуту спустя, он посмотрел на меня и сказал: "Занимайся фана, а не бака".

- Почему? - спросил я.

- Потому что иначе это похоже на то, что ты идешь на базар, чтобы стать торговцем.

Иногда, нарушая заведенный мной порядок, Учитель задавал вопросы мне, и тогда я чувствовал себя гораздо менее уютно. Однажды, например, он спросил, как долго я собираюсь пробыть у него в Тегеране. Теперь, через десять лет, я знаю правильный ответ. Но тогда я ответил без колебаний: "Пока я не излечусь от болезни нафса (самость)". Учитель засмеялся. "Не думаешь ли ты, что даже желание очистить нафс есть желание нафса? Не беспокойся о нафсе. Просто помни Бога".

Учитель часто посещал другие ханаки, тем не менее мне редко доводилось ездить вместе с ним. Поэтому когда он спросил в то утро, хочу ли я поехать с ним, я был рад воспользоваться этой возможностью. "Хатман" ("конечно"), - ответил я ему. Учитель стоял в дверном проеме, одетый в русскую меховую шапку и длинное пальто; черты его лица были едва различимы в лучах восходящего солнца.

- Хорошо... мы уезжаем через пять минут.

Я знал, что у меня не было времени взять с собой ни смену одежды, ни книги, ни зубную щетку. Я не имел ни малейшего представления ни куда, ни на сколько мы уезжаем. Времени у меня оставалось только на то, чтобы накинуть одежду и схватить пальто. Пока я завязывал шнурки, один из суфиев, знавший английский язык, прошел мимо. Я окликнул его шепотом:

- Ты знаешь, куда едет Учитель?.

- Конечно, старик. Он едет в Карадж. А что? Ты тоже едешь?

Я кивнул.

Суфий покачал головой и цокнул языком.

- В чем дело?

- Узнаешь сам.

Он был прав. Я действительно узнал.

Карадж - маленький городок, находящийся в пятидесяти, или около того, километрах северо-западнее Тегерана. На склоне горы, возвышавшейся над городом, Учитель строил новую ханаку. Открывавшийся вид был прекрасен. Ночью город превращался в море огней, расходившихся под нашими ногами во всех направлениях. Единственная проблема состояла в том, что гора, в которой вырубалась ханака, состояла преимущественно из камня. Это был самый твердый камень, с которым я когда-либо имел дело. Что же касается инструментов, то они были, большей частью, те же, что я видел на персидских миниатюрах четырнадцатого века. Работа была изнурительная,

тяжкая, она могла сломить даже тех, кто был суфием на протяжении многих лет. И хотя каждый суфий хотел сопровождать Учителя в его новогодних (новруз) поездках, мало кто предлагал поехать с ним в Карадж более одного раза.

День обычно начинался между пятью и шестью часами утра, до восхода солнца, с совершения молитв и завтрака, состоявшего из чая, брынзы и лаваша. В семь утра мы уже работали: месили цемент, таскали камни, копали траншеи, строили каменные стены или лестницы, тесали камни для украшения здания, или, когда уже не было сил ни для чего другого, просеивали землю для бетона. В полдень был перерыв, чтобы поесть и чуть отдохнуть, но в два часа работа начиналась снова. И не то чтобы кто-то заставлял тебя работать. Просто трудно сидеть внутри на мягком удобном ковре, пить чай и слушать суфийскую музыку, когда все остальные суфии работают, обливаясь потом. Так что, в конце концов, каждый день приходилось выбираться наружу и трудиться, как бы сильно ни тянуло остаться внутри и поспать. Работа заканчивалась с заходом солнца, но заходило солнце только к девяти часам вечера. Это были длинные дни, медленной чередой тянувшиеся друг за другом, и каждый следующий день был похож на предыдущий. Единственным доступным убежищем был сон, да и тот был слишком короток.

На следующий день после нашего приезда что-то случилось с водонапорной башней, и неожиданно мы оказались без воды, если не считать маленького источника у входа в ханаку. Воды из этого крошечного колодца не хватало ни для душа, ни для питья или готовки, ни для ритуального омовения (вуду). Как будто для того, чтобы подчеркнуть абсурдность положения, резервуар, снабжавший водой весь город, возвышался на горе прямо над нашими головами. Я видел его каждый день, когда растаскивал каменные завалы, окружавшие ханаку. После четырнадцати часов работы мы были покрыты землей и цементом, все в поту и в комьях глины. Грязной была и одежда, и руки, и лицо, и волосы. Но помыться было абсолютно негде. В спешке я не взял с собой смену одежды, так что я не мог избавиться даже от той грязи, которая налипала сверху. Единственным утешением было то, что Учитель, судя по всему, должен был скоро уехать отсюда - он редко задерживался в одной ханаке подолгу.

Как я и ожидал, Учитель решил вернуться в Тегеран на следующий день. К своему ужасу, однако, я обнаружил, что он уезжает без меня. Я вынужден был провести это утро, помогая одному из суфиев таскать камни, нужные для постройки стены в нижней части ханаки; после полудня мне и еще трем суфиям пришлось таскать тачки с землей для укрепления стены, которая находилась метрах в ста ниже нас на склоне горы. Около трех часов появился Учитель, в русской шапке и в пальто, и сообщил, что он намерен вернуться в Тегеран. Он сказал, что нам следует таскать землю до захода солнца, но работать мы должны "медленно, медленно", чтобы не переутомиться.

Само собой разумеется, я был весьма этим удручен. Не только тем, что Учитель возвращается в Тегеран без меня, но и мыслью, что мне придется работать до захода солнца. До захода оставалось по крайней мере шесть часов, а я уже изнемогал от жары; я был весь в грязи, измучен и раздражен. Я наблюдал, как машина Учителя спускается вниз по длинному серпантину дороги, ведущей к Тегерану, и мне стало дурно. Мои ладони были покрыты мозолями, а мышцы спины и шеи болели. Мне казалось, что еще шесть часов работы мне просто не выдержать. Я повернулся к трем другим суфиям.

- Как насчет того, чтобы отдохнуть пару часов, ребята?

- Пожалуй что нет, - ответил один из них. - Учитель сказал нам, чтобы мы работали до захода солнца.

"Да отвяжитесь вы все от меня", - подумал я про себя. Но продолжал работать, поскольку работали все остальные. Однако, в тайне я проклинал всех и вся. Я проклинал суфиев, и Карадж, и грязь, и недостаток воды. Не проклял я только Учителя, но был к этому очень близок. Прошел еще час и мне настолько все осточертело, что я решил сделать перерыв, что бы там ни говорили другие суфии. Я ринулся в сторону кухни схватить что-нибудь: дольку дыни, печенье, стакан воды, чая. Что угодно, лишь бы внести разнообразие в это монотонное, тяжелое, неумолимое, неослабевающее напряжение от пребывания в Карадже.

Пока я добирался до кухни, я довел сам себя до полного бешенства. Мне так все опротивело, что я не мог больше здесь находиться. Даже еда и питье потеряли свою привлекательность. Я присел снаружи на ступеньки, ведущие в кухню рядом с комнатой Учителя, и стал грезить. В своих мечтах я вернулся в Тегеран, где есть водопровод и баня с горячим душем. Два года назад, когда, после посвящения, я в первый раз побывал в тегеранской ханаке, мне было неважно там жить. Все казалось таким чужим и трудным. Теперь же это представлялось раем.

Пока я так сидел, оплакивая свою горькую долю, и желая быть где угодно, кроме Караджа, одна из немногих находившихся здесь американских суфиев вышла из кухни и подошла ко мне. Женщина эта провела несколько лет в Ширазе с одним из шейхов ордена и теперь часто сопровождала Учителя.

- Как дела? Она села рядом со мной на ступеньки.

- Отвратительно. Так больше продолжаться не может. Я не могу так. Хочу вернуться.

- В Тегеран?

- Нет, домой. В Америку. Я просто не могу с этим справиться. Работа, грязь. Ни воды, ни чистой одежды. Я за три дня даже не сменил белье. И не почистил зубы. Ненавижу это место. По-настоящему ненавижу.

- Бедняга. Жизнь так трудна.

Я был не в том настроении, чтобы выслушивать саркастические реплики и готов был уже ответить грубостью, но в последний момент сдержался. Она продолжала:

- Хороши же мы, нечего сказать. Мы принимаем посвящение, и все хотим достичь высочайшего духовного уровня. Мы упрашиваем Учителя испытать нас, чтобы показать, какие мы замечательные люди, какие мы выдающиеся суфии. Но всегда мы навязываем свои собственные условия, поэтому в первый же раз, когда нас подвергают настоящему испытанию, мы начинаем скулить, и жаловаться, и пытаемся убежать, как маленькие дети.

Она посмотрела на меня с усмешкой и начала хихикать. Ее короткая речь должна была меня, вроде бы, разозлить, но этого почему-то не произошло. Вместо этого я почувствовал себя очень глупо. И ощутил свою ничтожность. Ну, конечно же, она была права. Я вспомнил вечер в тегеранской ханаке месяц назад, когда я сидел снаружи на ступеньках точно так же, как я сидел сейчас. Я размышлял о том, насколько я духовно продвинулся во время пребывания в Тегеране, и мечтал, что мне представится возможность продемонстрировать свои успехи Учителю. Теперь мне стало очевидно, что все это время я топтался на одном месте. Это было настолько нелепо, что я тоже

стал хихикать. В конце концов, мы оба стали смеяться во весь голос.

Один из суфиев, видимо, услышав шум, подошел посмотреть, что происходит. Сквозь смех, я объяснил ему все, как мог. Вряд ли у меня это хорошо получилось, но когда я закончил, он кивнул и сказал: "Мы вступаем на Путь, провозглашая: "Ла илаха илла'ллах" ("Нет бога, кроме Бога"). Но при первой же трудности, или если что-то происходит не точно так, как нам этого хотелось бы, наши поступки говорят за нас: "Ла илаха, Ла илаха, Ла илаха" ("Нет Бога, нет Бога, нет Бога"), и слова "илла'ллах" ("кроме Бога") оказываются брошенными на ветер.

Мы стали смеяться все вместе. В конце концов, я взял себя в руки и встал. "Ну, что ж, пожалуй, мне лучше снова взяться за работу. До захода еще остается несколько часов".

В ту ночь, лежа на полу ханаки, и пытаюсь уснуть, я стал осознавать, что мне начинает нравиться и грязь, и то, что я не могу принять душ, побриться, или умыться. Я понял, что существовала грязная грязь, та, что я видел в Нью-Йорке - копоть, которую приходилось смывать каждый вечер с лица. И была иная - чистая грязь, грязь земли, такой была грязь Караджа. Чистая грязь становилась частью тебя, а не тем, что нужно смывать.

На следующее утро, просеивая песок для цемента, я увидел, что машина Учителя подъезжает к ханаке. Переодевшись, он позвал меня в свою комнату.

- Ну, что ты думаешь о Карадже?

- Красивое место.

Несмотря на тяжелый труд, здесь действительно было красиво.

- Тогда, может быть, хочешь здесь остаться? Или ты хотел бы вернуться в Тегеран?

- Я сделаю то, что Вы мне скажете.

Я знал, что это был правильный ответ, но он, конечно, был не совсем правдивым. Признаться в этом, однако, даже самому себе было бы то же, что солгать Учителю. А как всякий хороший суфий, я никогда не лгал Учителю.

- Мне кажется, что в Тегеране тебе нравится больше. В Карадже очень грязно, а ты не любишь грязь.

- Мне она начинает нравиться.

- Нет, это не хорошо.

Учитель сделал паузу и посмотрел прямо на меня.

- Таслим хуб-э. С этим, он встал и вышел из комнаты.

Таслим хуб-э. Смирение - хорошо.

Умом я тотчас же понял, что он имел в виду. Но если бы я понял это сердцем, то знал бы, что дело не в том, чтобы тебе "нравилась грязь". Дело не в том, нравится или не нравится грязь, нравится ли Тегеран, или не нравится Карадж. Дело в том, чтобы принимать всё, что происходит в данный момент, и довольствоваться этим, поскольку это то, чего хочет Бог, будь то грязь или же чистота, Карадж или Тегеран. Вот почему суфии в молитвах никогда ни о чем не просят. Молить о чем-то - значит свои желания ставить превыше Божьих. Это означает сомнение в Божественной мудрости. "Многие молитвы ведут к потере и разрушению, - пишет Руми в Маснави, - и, по доброте своей, Бог не приемлет их".

Хорошие люди благодарят Бога, когда что-то "хорошее" случается с ними. Так же поступают и суфии. Но суфии благодарят Бога и тогда, когда с ними случается что-то плохое. Разницы никакой нет: суфий признателен за каждое мгновение, ибо каждое мгновение послано Богом. Суфий - дитя мгновения. Вот что такое смирение перед Богом. "Если в каждое мгновение ты мог бы принять то, что происходит, - сказал Учитель, - ты завершил бы Путь".

Ротшильд Джеффри (Из журнала "Суфизм")